

## *Наследие Древней Руси*

УДК 821.161.1.0

ББК 83.3(2Рос=Рус)1

*Демин Анатолий Сергеевич,*  
доктор филологических наук, профессор,  
Институт мировой литературы, Российская академия наук,  
ул. Поварская, д. 25а, 121069 г. Москва, Российская Федерация  
E-mail: anatolydemin@gmail.com

### **«ОПРЕДЕМЧИВАНИЕ» АБСТРАКТНЫХ ПОНЯТИЙ И ПОЭТИКА ПРЕВРАЩЕНИЙ В ДРЕВНЕРУССКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XI–XII вв.**

*Аннотация:* Изучаются повествовательные минимальные, на уровне словосочетаний, проявления образности в старейших древнерусских литературных памятниках (включая «Слово о полку Игореве»), а именно отличающиеся от обычных художественных тропов авторские превращения абстрактных понятий в материальные объекты, а объектов в совсем иные объекты. Этот архаический образный приём авторы использовали в моменты сильной экспрессии по общественно важным вопросам. Со временем архаическое опредмечивание = превращение стал непонятным. Автор «Слова о полку Игореве» предпринял попытку оживления «старых словес», но последователей не обрёл. А «Задонщина» продемонстрировала уже полное непонимание древней поэтики и превратила всё в грубые тропы и символы. В XVII в. авторы, обращавшиеся к старому фольклору, внешне повторяли приём образных превращений персонажей, но в виде их волшебного оборотничества с хозяйственным оттенком. В результате, поэтика превращений постоянно присутствовала в древнерусской литературе.

*Ключевые слова:* древнерусская литература, образность, словосочетания.

Поиски столь ценимых нами образных явлений в древнерусских текстах приводят нас к любопытному факту — к «опредмечиванию». Под «опредмечиванием» мы понимаем смысловое превращение абстрактного объекта в предметный объект, воображаемое автором произведения и выраженное в тексте при сочетании абстрактных или отвлечённых существительных с предметными глаголами (при условии, что предметный смысл глагола не заменился абстрактным). Подобные образные превращения — это не сравнения, не метафоры, не символы, а особое явление поэтики, мало изученное, на которое мы обратим внимание на примере тех памятников XI–XII вв., где этот феномен представлен наиболее обильно.

Главная наша задача — доказать, что образные превращения на уровне словосочетаний действительно существовали в поэтике древнерусских произведений.

### «Слово о Законе и Благодати» Илариона

В «Слове о Законе и Благодати» много символов, и поэтому прежде всего скажем о различии смысла символического и смысла предметно-образного.

Так, «Слово» своё Иларион завершил пожеланием князю Ярославу Мудрому: «...пучину житиа преплутити, и въ пристанищи небеснааго заветриа пристати, невредно корабль душевныи — веру — съхранышу, и съ богатством добрыми делы, безъ блазна же, Богомъ даныа ему люди управивышу, стати непостыдно пред престоломъ вседержителя Бога» [2, с. 35]. Приведённый отрывок имел у Илариона одновременно двойной смысл, — символический (обозначение качества объекта) и образный (превращение абстракции в предмет). Символический смысл понятия «жизнь»: пучина — символ опасности земной жизни; тихое пристанище — символ жизни небесной; корабль — символ духовности человека; перевозимый богатый груз — символ добрых дел и т.д. Общий инносказательный смысл отрывка: торжественно-риторическое пожелание Илариона князю жить благочестиво и после кончины быть принятым на небеса.

Предметно-образный же смысл этого отрывка был иным: жизнь человека превратилась в плавание и представлялась Илариону в виде картины благополучного путешествия корабля по морской пучине к безветренному порту с сохранением экипажа и богатого груза.

Объяснить оба смысла приведённого отрывка нетрудно. Символическое инносказание отразило риторический пафос проповедника, а предметно-образное превращение жизни в плавание появилось для придания яркости пожеланию Илариона.

Среди множества абстрактных понятий, использованных Иларионом в «Слове», более 30 (а это немало) имели образные оттенки и превращались во что-то предметное. Чаще всего, в соответствии с главной темой «Слова», Иларион повторял понятия «благодать», «закон», «вера», и у каждого из них выделялся свой предметно-образный мотив. Благодать напоминала некое живое существо, «биографию» которого обозначил Иларион: благодать ожидала «времени съннити ми на землю»; затем на земле «родися благодать» как человек («сынъ») и понемногу росла («еще не у благодать укрепила бяше, нъ дояшеса <...> егда же уже отдоися и укрепе, и явися благодать Божия всемъ человекомъ въ Иордань-стей реце»); появились у благодати дети («видевши ж свободыная благодеть чада своа христианьи»); и благодать с земли обращалась к Богу («възъпи къ Богу») [2, с. 15–16].

Однако к созданию единого образа благодати Иларион вовсе не был расположен. Благодать у него то вдруг становилась водой или вином («и Христова благодать всю землю обьять и, яко вода морьскаа, покры ю ... дождь благодетныи оброси» [2, с. 18–19]; «въливають <...> вина <...> благодетьна въ мехы» [2, с. 23]); то благодать испускала сияние («лепо бо бе благодати <...> на новы люди въсиати» [2, с. 23]); то благодать превращалась в солнце («человечество <...> въ благодети

пространо ходить <...> при благодетьнеим солнци» [2, с. 17]). Разные образные мотивы Иларион находил от случая к случаю с одной целью: подсобными элементами образности сделать ярким иносказательный смысл своей речи.

То же происходило при упоминаниях веры и закона.

Самым же распространённым предметно-образным мотивом у всей массы абстрактных понятий в «Слове» являлось их превращение в живительную жидкость («еуагельскыи же источникъ наводнився, и всю землю покрывъ, и до нась разлися <...> вьнезаапу потече источникъ еуагельскыи, нааая всю землю нашу» [2, с. 23–24]; «пиемъ источникъ нетления» [2, с. 25]; «испи памяти будущая жизни сладкую чашу» [2, с. 29]; «дождемъ Божиа поспешения распложено бысть» [2, с. 34]; и пр.). Как это объяснить?

Иларион в своём «Слове», судя по «опредмечиванию» понятий, выразил оптимистическое ощущение всеобщего благополучия («възвеселятся и възрадутся языци» [2, с. 26]). Поэтому понятия с отрицательным смыслом получили образные обозначения мертвящего зноя, сухости и гибели (например: «идольскому зною исушивъши» [2, с. 24]; «законъное езеро прасеше» [2, с. 23]; «оттрясе прахъ невериа» [2, с. 27]). Соответственно свет побеждал тьму, жажда утолялась питьём, засуху прекращал дождь и т.п.

Представление о благополучии Руси Иларион выразил также превратив положительные абстрактные понятия в обозначения свежей чистоты и ладной одежды и обуви (например: «правдою бе облечень, крепостию препоясанъ, истиною обувь, съмысломъ венчанъ, и милостынею, яко гривною и утварью златою красуюся» [2, с. 34]. Ещё: «въ нетление облачить» [2, с. 19]; «въ лепоту одеша» [2, с. 28–29]). И напротив, отрицательное с себя снимали («съвлече же ся <...> и съ ризами ветъхааго человека съложи тленьнаа» [2, с. 27]).

«Опредмечивание» абстрактных понятий Иларионом наверняка было связано с библейской и византийской литературной традицией; но отчего так густо такая образно-иносказательная манера изложения заполнила «Слово о Законе и Благодати»? На этот вопрос ответил сам Иларион, предупредив, что он повествует, очевидно, в новой для Руси, очень учёно-философской манере, заставляющей думать, для интеллектуальной элиты, для подготовленных слушателей и читателей («ни къ неведущимъ бо пишемъ, нъ преизлиха насыштышемся сладости книжныа» [2, с. 14]), однако ради ясности восприятия говорит, «опредмечивая» абстракции. «Слово о Законе и Благодати» Илариона свидетельствует о существовании, хоть и не самостоятельных и очень специфических, элементов образности с самого начала оригинальной (непереводной) древнерусской литературы.

### **«Сказание о Борисе и Глебе»**

После «Слова о Законе и Благодати» прошло больше полувека, и обильное «опредмечивание» абстракций дало знать о себе в «Сказании о Борисе и Глебе», но «опредмечивание» абстрактных понятий, обозначавших преимущественно настроения и чувства человека. Чаще всего, опять-таки в связи с главной темой этого произведения, анонимный автор «опредмечивал» печаль и тугу.

Вот, например, высказывание Бориса о печали: «...къ кому сию горькую печаль простерети?» [1, с. 29]. Главный смысл словосочетания «печаль простерети», разумеется, переносный (поделиться с кем-нибудь своим горем), но некоторый предметно-образный оттенок вносил глагол «*простерети*», который в книжности обычно ассоциировался с протягиванием рук: распространённость данной фразеологической ассоциации хорошо (репрезентативно) демонстрируют произведения конца XI – начала XII вв., современные «Сказанию о Борисе и Глебе», — «Повесть временных лет», «Чтение о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского»; и др. (а также «Успенский сборник» в целом). Там этих примеров, особенно простирания рук, множество. Так что в словосочетании «печаль простерети» печаль скрыто и слабо мыслилась автором как объект, протягиваемый руками персонажа. Тем более что руки этого персонажа упоминались перед данной фразой: «своима рукама съпряталь». Словосочетание «печаль простерети» у автора «Сказания» не являлось символом, но относилось к иной категории поэтики — неявному превращению абстрактного понятия в предмет в момент высказывания: печаль на миг стала представляться материальной вещью или горьким веществом, протягиваемыми по направлению к кому-либо.

Нельзя исключить, что выражение «печаль простерети» возникло у автора по аналогии с традиционным выражением о возложении своей печали на Бога (ср.: «печаль свою на Бога възложь»; «всю печаль свою възвързи къ Богу» [9, с. 197, 101]). Автора «Сказания» привлекла экспрессивность и яркость выражения «горькую печаль простерети» (сравнительно с нейтральными выражениями «поведать о печали», «сказать о печали»). Средством выразительности дополнительно служил пространственный оттенок (наряду с предметным оттенком) в высказывании «къ кому <...> печаль простерети: къ брату ли?» (ведь брат находился далеко, и Борис со своей печалью ещё только шёл к брату: «...къ кому прибегну <...> Се да иду къ брату моему» [1, с. 29–30]).

Второй случай «опредмечивания» печали в «Сказании» тоже относился к Борису: «И узрѣста попинъ его и отрокъ, иже служааше ему, и видевьша господина своего дряхла и печалию *обляйна* суща зело» [1, с. 34–35]. Глаголы «обляяти», «обливати», «разливати» традиционно ассоциировались с разлитием жидкости (ср. «Успенский сборник»: «водою обляяти», «росою обливаше» — [9, с. 241, 214]), но чаще всего ассоциировались с разлитием слёз (ср. в «Сказании» о Борисе же: «всь слъзами облявься», «слъзами разливаашеся всь» [1, с. 36, 31]), а слёзы ассоциировались с лицом (см. в «Сказании» о Борисе: «лице его всье слъзь испълнися, и слъзами разливаяся»; о Глебе: «слъзами лице си умывая <...> всье слъзами разливаяся» [1, с. 29, 41]). Так что выражение «печалию обляйна» имело предметный оттенок у автора «Сказания», и печаль на миг превращалась в жидкость и ассоциировалась с лицом персонажа, облитым слезами. Ассоциация «печаль — льющиеся слёзы» наверняка традиционная (ср. в «Успенском сборнике»: «излеее печаль очима» [9, с. 400]). Выражение «печалию обляйна суща зело» понадобилось автору тоже благодаря своей выразительности и экспрессивности (на фоне нейтральных выражений «печалитися», «быти в печали»).

Третий случай «опредмечивания» печали относился уже к «туге» Глеба: «туга състиже мя» [1, с. 40] (в других списках — «постиже»). Глаголы «състиже», «постиже» в данной ситуации обозначали «настичь кого-то или что-то кем-то» (ср. в «Успенском сборнике»: Феврония «ишедь <...> и постигыши множество много женъ <...> и постиже Фамаиду на пути» [9, с. 239]; Феодосия «въскоре текъше, постигоша патриаръшьскыи домъ» [9, с. 252]. Ср. ещё в «Повести временных лет»: «постиже и° ту и победи» [4, стб. 146, под 1021 г.]). Туга в выражении «туга състиже мя» неотчётливо представляла неким агрессивным существом, настигшим персонажа или даже напавшим на него. Конечно, и этот предметный оттенок был традиционным (ср. в «Успенском сборнике»: «ни едина бо туга прикоснетъ ся сущихъ въ корабли»; «бедно дело постиже ны <...> приближая ся къ нама» [9, с. 291, 181]). Выбор выражения понятен: «туга състиже мя» ярче и экспрессивнее, чем «я тужу».

Автор «Сказания» употреблял и иные, не «опредмечивающие», но экспрессивные выражения, относившиеся к печали (например: «И бяше <...> въ тузе и печали <...> И бяше сънь его въ мьнозе мысли и въ печали крепьце, и тяжьце, и страшне» [1, с. 33]). При этом автор всё же, вероятно, ощущал, что выражения о печали с предметно-образным оттенком наиболее экспрессивны, и поэтому вспоминал них в самые острые, можно сказать, театрализованные моменты своего повествования, когда печальные персонажи появлялись на публике или горевали при возбуждённых зрителях.

«Сказание» наполнено множеством выражений, «опредмечивающих» абстрактные понятия. Так, душу и сердце автор обозначал как некие замкнутые пространства («въ души своей стонааше» [1, с. 31]; «глаголаше въ сьрьдци своемъ <...> полагая въ сьрьдци» [1, с. 30]; «въниде въ сьрьдце его сотона» [1, с. 38]); или как существа, вещи или орудия («вижь скьрбь сьрьдца моего и язву душа моя» [1, с. 41]; «сердце ми горить» [1, с. 29]; «душу изимающе» [1, с. 40]; «предавъ душу свою въ руке Бога жива» [1, с. 37]; «вижь съкрушение сьрьдца» [1, с. 42]; «възнесея сьрьдцьмь» [1, с. 43]; и т.п.). Некоторые абстракции становились жидкостями («почьреплють ицеление» [1, с. 50]; «милость твою излеи» [1, с. 51]). Довольно много абстрактных понятий выступало в роли агрессивных существ («жалость <...> сънестъ мя, и поношения <...> нападутъ на мя» [1, с. 38]; «рана <...> приступить къ телеси твоему» [1, с. 50]; «болезни вьси и недугы отьгонита» [1, с. 49]; «убежати от прельсти» [1, с. 35]; и пр.).

Мы не станем углубляться в область очень древних мифологических представлений славян о ныне абстрактных понятиях. Отметим только, что «Сказание о Борисе и Глебе» свидетельствует о том, что элементы образности стихийно проникали в произведение в моменты сильной экспрессии автора. Поэтому образное «опредмечивание» абстракций редко встречалось в произведениях на ту же тему, но иных по стилю: в фактографичной летописной статье «Об убьеньи Борисове» и в суховато-учительном «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора.

В отличие от пафосного «Слова о Законе и Благодати» Илариона, в «Сказании о Борисе и Глебе» эмоциональное «опредмечивание» абстракций осталось отрывочным и не связалось в единое смысловое целое, в «образ мира». Эту дробность

образных мотивов можно объяснить как следствие литературной работы автора, предположив, что «Сказание» было составлено из разнородных кусков. Но тут необходим особый текстологический анализ «Сказания». Однако недаром в «Сильвестровском сборнике» XIV в. разнородность «Сказания» была продолжена, и в «Сказание» кто-то дополнительно вставил отрывки из «Повести временных лет» под 1015–1018 гг.

### «Слово о полку Игореве»

В конце XII в. в «Слове о полку Игореве» случаев «опредмечивания» абстрактных понятий, их превращения в материальные предметы или существа стало ещё больше, чем в «Сказании о Борисе и Глебе» (70 или более). Чаще всего, в соответствии с темой «Слова», автор «опредмечивал» такие понятия, как «туга, печаль, тоска, труд, жалость», а также «мысль» и «слава». Туга представляла в «Слове» растением. Например, во фразе «чръна земля подь копыты костью была посеяна, а кровию поляна, тугою въздоша по Руской земли» [6, с. 48] битва превращалась в посевную работу, поле битвы — в плодородный чернозём, конские копыта — в мотыги, кости — в семена, а интересующая нас туга представляла растительными всходами.

Но затем в тексте «Слова» туга милолётно вдруг становилась чем-то вроде агрессивного существа («туга умь полонила» [6, с. 50]), а потом — каким-то предметом, напоминающим пробку («тугою имь тули затче» [6, с. 55]). Тоска и печаль, в свою очередь, оказывались жидкостями («тоска разлися по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи» [6, с. 49]); «трудь» (т. е. та же печаль) превращался в вещество, растворимое в вине («чръпахуть ми синее вино, съ трудомь смешено» [6, с. 50]); а жалость объявилась страшным существом («Жля поскочи по Руской земли, смагу людемь мычючи въ пламяне розе» [6, с. 49]). Постоянного превращения понятия в один и тот же объект в «Слове» не предусматривалось.

Такое же разнообразие превращений демонстрировали понятия «мысль» и «слава». Мысль, правда, не очень отчётливо, то покрывала древо или даже становилась деревом («растекашется мыслию по древу»; «скача, славию, по мыслену древу» [6, с. 43, 44]); то выступала в роли реального орудия реально совершаемого полёта («мыслию ти прелетети, отня злата стола поблюсти» [6, с. 51]; «храбрая мысль носить ваю умь на дело, высоко плаваеши на дело <...> на ветрехь ширяся» [6, с. 52]); то мысль использовалась как средство землемерия («Игорь мыслию поля мерить оть великаго Дону до малаго Донца» [6, с. 55]).

То же происходило со славой, которая, уже совсем неотчётливо, мыслилась сначала неким ущербным предметом («свивая славы» [6, с. 44]; «притрепа славу», «разшибе славу» [6, с. 53]); затем слава превратилась во что-то вроде звонящего колокола («звенить слава въ Кыеве» [6, с. 44]; «звонячи въ прадедную славу» [6, с. 51]); а потом слава предстала каким-то живым существом («слава на судь приведе <...> зелену паполому постла» [6, с. 48]).

Автор «Слова о полку Игореве» стремился к многообразию предметных превращений. Больше всего абстрактные понятия в «Слове» превращались в матери-

альные вещи. Например, души воинов напоминали шелуху от зерна («снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоце животь кладуть, веюць душу отъ тела» [6, с. 54]); душа же князя являлась наружу в виде роняемого жемчуга («изрони жемчюжну душу изъ храбра тела чресь злато ожерелие» [6, с. 53]). Княжеское слово становилось роняемым золотом («изрони злато слово» [6, с. 51]). «Крамола» превращалась в металл («мечемъ крамолу коваше» [6, с. 48]). Крик использовался как ограда («дети бесови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты» [6, с. 47]). Даже тьма материализовалась в покрывало («тьмою <...> воя прикрыты» [6, с. 44]; «Олець и Святославъ тьмою ся поволокоста» [6, с. 51]). И т.д. и т.п.

Абстрактные понятия превращались также в жидкости (например: «грозы твоя по землямъ текуть» [6, с. 52]) и в растения («сеяшеться и растяшеть усобицами» [6, с. 48]), но особенно эффектно — в живые существа («въстала обида <...> вступила девою на землю <...> въплескала лебедиными крылы..., плещучи, убуди жирня времена <...> уже лжу убудиста...» [6, с. 49]; «веселие пониче» [6, с. 50]; и пр.).

Превращения в «Слове» были универсальными и охватывали не только абстракции. Природные явления превращались в живых существ, наделённых чувствами («ночь стонущи» [6, с. 46]; «ничить трава жалощами» [6, с. 49]; «уныша цветы жалобою» [6, с. 55]) или превращались в активных деятелей (например, в плаче Ярославны ветер метал стрелы «на своею нетрудною крилцю», веял «подъ облакы», лелеял «корабли на сине море», развеивал «веселие по ковылию»; Днепр-Словутич пробивал «каменные горы» и тоже «лелеял» корабли; солнце, словно руки, «простре горячую свою лучю» на воинов [6, с. 54–55]. И ветер, и Днепр, и солнце Ярославна называла господами. В других местах «Слова» Дон по-человечески «кличеть и зоветъ князи» [6, с. 52]. А Донец становится нянькой: лелеет князя «на вльнахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ <...> стрержаше ё» [6, с. 55]. Солнце же «тьмою путь заступаше» Игорю с войском [6, с. 46]; т. е. тьма превращалась в нечто вроде загородки, созданной солнцем. И т.д.).

Мало того, предметы людского обихода и воинского быта тоже вели себя как живые: струны Бояновых гуслей, а также половецкие телеги превращались в «стадо лебедеи» [6, с. 44], «крычатъ <...> рци, лебеди роспущени» [6, с. 46]. Стяги и копыя что-то произносили: «стязи глаголють» [6, с. 47]; «копия поють» [6, с. 54]. Крепостные стены печалились: «уныша бо градомъ забралы» [6, с. 50].

Наконец, люди превращались в животных: «Боянь <...> растекашеться <...> серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» [6, с. 43]; Игорь «поскочи горнастаемъ къ тростию, и белымъ гоголемъ на воду <...> скочи <...> босымъ вълкомъ и потече по лугу Донца, и полете сокомъ подъ мъглами, избивая гуси и лебеди...» [6, с. 55]. Тут автор использовал не сравнения и не метафоры, переносящие на человека некоторые черты животных и создающие образ-«кентавр», но на время заменил человека животным, обратил человека в животное. Если в некоторых лаконичных случаях ещё можно сомневаться в том, что не к метафорам ли, к сравнениям или к символам обращался автор «Слова», то при пояснительных упоминаниях звериных или птичьих примет автором ясно наблюдалось полное превращение

героев в животных как оригинальный феномен поэтики «Слова о полку Игореве». Чаще всего персонажи «Слова» превращались в волков (например, «Всеславъ <...> скочи влькомъ до Немиги съ Дудутокъ», «въ ночь влькомъ рыскаше» [6, с. 53–54]; Овлуръ «влькомъ потече, труся собою студеную росу» [6, с. 55], а ещё чаще превращались в птиц (например, Ярославна «зегзицею <...> кычеть. Полечю, — рече, — зегзицею по Дунаеви...» [6, с. 54]; Мстислав или Роман — «высоко плаваеши <...> яко соколь на ветрехъ ширяся» [6, с. 52]).

Даже части человеческого тела тоже превращались: персты Бояна — в десять лебедей; княжеские сердца — в булат («ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузе скована, а въ буести закалена» [6, с. 51]).

Объяснения столь небывалого пристрастия автора к превращениям всего и вся в «Слове» мы можем выдвинуть только предположительные. Вероятно, автор конца XII в. повернулся лицом к прошлому повествовательному фольклорному и полуфольклорному стилю XI в. (или ранее) и постарался именно «старыми словесы» воспеть поход Игоря, оценив яркую и экспрессивную иносказательность «старых словес». К сожалению, подтвердить это предположение почти нечем, разве что скудными цитатами из песен Бояна в «Слове», былинной «Волх Всеславьевич» и поэтикой превращений в очень поздних полуфольклорных памятниках (например, в «Повести о Горе-Злочастии»).

Демонстративное, пожалуй, даже нарочитое обилие преимущественно благородных превращений в «Слове» сравнительно с предыдущими памятниками показывает, насколько поднаторел автор «Слова» в рыцарственных «старых словесах». Благодаря «опредмечиванию» и обилию превращений мир «Слова» оказался заполненным огромным количеством действующих существ и предметов. Так, автор героизировал трагические события архаическим способом. Но в этом героическом мире роль Игоря получилась довольно скромной.

В заключение, кратко взглянем вперёд. Дальнейшая судьба «опредмечивания» абстрактных понятий и превращения объектов свидетельствует о том, что этот архаичный способ образного повествования со временем стал непонятен. Так, в «Задонщине» восходящие к «Слову о полку Игореве» отрывки с превращениями были довольно неуклюже истолкованы как символы: «то ти не орли слетошася — съехалися все князи русскыя»; «то ти были не серие волци — придоша поганые татарове»; «то ти не гуси гоготаша, ни лебеди крылы въсплескаша — се бо поганый Мамаи приведе вой свои на Русь» и пр. [7, с. 548–549] (цитируется Кирилло-Белозерский список конца XV в.). Или же вместо превращений возникли реалии (например: «Жаворонокъ-птица, въ красныя дни утеха, възиди под синие облакы, пой славу великому князю Дмитрею Ивановичю...» [7, с. 548]). А многие отрывки с превращениями исказились в невнятные фразы.

В былине же «Волх Всеславьевич», которую считают очень древней, но, однако, известной лишь по очень поздней записи XVIII в., мотив превращений героя был огрублён до физиологического, волшебного, сказочного оборотничества Волха на какое угодно время и для каких угодно поступков в ясного сокола, серого волка, гнедого тура, горноста, муравья.



В «Повести о Горе-Злочастии» же в XVII в. была предпринята попытка сделать превращения Гора и Молодца полновесными образами, раскрывающими многоликость персонажей и зыбкость жизненных ситуаций того времени. Правда, в конце повести автор вроде бы возвращался к древнейшим превращениям литературных персонажей — наподобие «Слова о полку Игореве», но с характерным для XVII в. отличием: превращения были сугубо хозяйственно-бытовыми, а Горе представало то охотником, то косарем, то рыбаком:

Молодец пошелъ в поле серым волкомъ,  
а Горе за нимъ з борзыми вежлецы.  
Молодец сталъ в поле ковыл-трава,  
а Горе пришло с косою вострою.

... ..

Быть тебе, травонка, посеченои,  
лежат тебе, травонка, посеченои  
и буины ветры быть тебе развеянои.  
Пошелъ Молодец в море рыбою,  
а Горе за ним с щастыми неводами.

... ..

Быть тебе, рыбонке, у бережку уловленои,  
быть тебе да и съеденои.

[5, с. XXI–XXII)

В общем, превращения сами тоже «превращались», но в том или ином виде, кажется, никогда не выбывали из системы образных средств древнерусской литературы.

И всё-таки нельзя не задаться вопросом о том, почему возникли и существовали превращения людей и людских качеств в иные предметные объекты в древнерусской литературе (наряду с приближением превращений к классическим тропам и символам). Ответ в мировоззренческом виде известен уже давно: древние мыслители считали человека родственным всему на свете. Правда, древних же русских письменных подтверждений такого представления нет. Но вот, например, в «Беседе трёх святителей» по списку XVI в. (более ранние древнерусские списки неизвестны) мысль об исконной родственности человека всем явлениям в мире была высказана: «...от колика части створи Богъ Адама: перьвая часть, — даде тело его от земли; второе, — даде кости ему от камени; третее, — очи ему от моря; четвёртое, — мысль ему даде от скорости ангелиския; пятое, — душу его и дыхание от ветра; шестое, — разумъ его от облака; седмое, — кровь его от росы и от солнца» [8, с. 448]. В «Сказании, како сотвори Богъ Адама» по списку XVII в. человек и собака оказываются родственными: «...сотвори Господь собаку, и смесивъ со Адамовыми слезами» [3, с. 13].

Предполагаем также, что не последнюю роль в поэтике превращений играло пробуждение предметного авторского воображения. И вот тому подтверждение из «Слова о полку Игореве» уже не на уровне словосочетаний, а на уровне одного

понятия и окружающего его контекста. Например, слово «поле» в этом знаменитом памятнике автор употреблял всегда с прибавкой устойчивого предметного представления о ровном, гладком поле: «Игорь-князь <...> поеха по *чистому* полю» [6, с. 46]. Это поле беспрепятственно для едущих на конях, и загородить путь может лишь тьма («солнце <...> тьмою путь заступаше» [6, с. 46]).

Конечно, автор «Слова» знал, что поле не такое уж ровное, и упоминал «яруги» (овраги), болота, «грязивые места» и холмы [6, с. 46, 47, 50]; но это не заставило автора отступить от устойчивого образа плоского поля, по которому можно двигаться с огромной быстротой, — «растекаться», скакать, рыскать, мчаться (например: «рища <...> чресь поля на горы»; «по полю помчаша» [6, с. 44, 46]). Более косвенно автор обозначил ровную плоскость поля тем, что при необходимости поле приходилось перегораживать («великая поля чрьлеными щиты прегородиша»; «загородите полю ворота» [6, с. 46, 47, 53]). Ещё более косвенно ровность поля подразумевалась, когда поле выступало как посевная площадь («въ поле незнаеме <...> чръна земля <...> костью была посеяна» [6, с. 48]); или как землемерная поверхность («Игорь мыслию поля мерить» [6, с. 55]); или же как ровно залитое пространство («по крови плаваша <...> на поле незнаеме» [6, с. 52]).

Кроме того, в этом гладком поле не за что было зацепиться (поэтому «буря соколы занесе чресь поля широкая» [6, с. 44]) и нечем прикрыться сверху (когда «пороси поля прикрывають» [6, с. 47]; когда «слънце <...> простре горячую свою лучю на <...> вои <...> въ поле везводне» [6, с. 55]; или если «почнуть наю птици бити въ поле» [6, с. 56]). А ухабистое поле подвергалось уплощению («притопта хльми и яругы <...> иссуши потоки и болота» [6, с. 50]).

Автор «Слова» всюду имел в виду именно половецкое поле, которое простиралось очень далеко («дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!» [6, с. 47]).

Таково было элементарное предметно-образное представление о поле у автора «Слова о полку Игореве», в то время как в предшествующих памятниках, включая летописи, слово «поле» употреблялось лишь как логическое понятие. Один этот пример уже показывает, насколько напряжённым было воображение автора «Слова», тип которого ещё только предстоит определить, притом по многим разным формам и литературным средствам в «Слове».

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг.: ОРЯС ИАН, 1916. XXIII + 205 с.
- 2 Идеино-философское наследие Илариона Киевского: в 2 ч. М.: АН СССР, 1986. Ч. 1 / текст памятника подгот. Т. А. Сумникова. 1972 с.
- 3 Памятники старинной русской литературы: в 4 вып. СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1862. Вып. 3 / изд. подгот. А. Н. Пыпин. 304 с.
- 4 Полное собрание русских летописей. М.: Языки русской культуры, 1997. Т. 1 / текст летописи подгот. Е. Ф. Карский. 496 с.
- 5 *Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии... // Сборник Отделения русского языка и словесности (ОРЯС). СПб., 1907. Т. 83, № 1. С. 1–88.

- 6 Слово о полку Игореве / изд. подгот. Д. С. Лихачев, Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов. Л.: Сов. писатель, 1967. XXXVIII, 498 с. (Б-ка поэта. Большая сер.)
- 7 «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла / тексты «Задонщины» подгот. Р. П. Дмитриева. М.; Л.: Наука, 1966. 619 с.
- 8 *Тихонравов Н. С.* Памятники отреченной русской литературы: в 2 т. М.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1863. Т. 2. 314 с.
- 9 Успенский сборник XII–XIII вв. / изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М.: Наука, 1971. 752 с.

\* \* \*

**Demin, Anatoly Sergeevich,**

*DSc of Philology, Professor, Head of Old Slavic Literatures Department,  
Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences,  
Povarskaya str., 25A, 121069 Moscow, Russian Federation  
E-mail: anatolydemin@gmail.com*

**«OBJECTIFICATION» OF ABSTRACT CONCEPTS  
AND POETIC TRANSFORMATIONS  
IN OLD RUSSIAN LITERARY WORKS OF XI–XII CENTURIES**

**Abstract:** The paper studies narrative minimum manifestations of imagery at the level of phrases in old Russian literary works (including «The Tale of Igor’s Campaign»), namely, artistic tropes different from the usual ones, transformations of abstract concepts into tangible objects, and objects into very different objects. This archaic trope was used by authors in the moments of strong emotions expressed on the issues of public interest. As time passed those archaic objectifications became incomprehensible. The author of «The Tale of Igor’s Campaign» tried to revive this stylistic means, but found no followers. «Zadonshchina» demonstrated a complete misunderstanding of ancient poetics and turned everything into plain tropes and symbols. In XVII century authors were turning to old folklore, they repeated only externally the means of imagery transformations of characters, but it took the form of magical lycanthropy. As a result, the poetics of transformations was constantly present in the old Russian literature.

**Keywords:** Old Russian literature, imagery, phrases.

**REFERENCES**

- 1 *Zhitiia sviatikh muchenikov Borisa i Gleba i sluzhby im* [Lives of Saints Martyrs Boris and Gleb an service to them], izd. podgot. D. I. Abramovich. Petrograd, ORIAS IAN Publ., 1916. XXIII + 205 p.
- 2 *Ideino-filosofskoe nasledie Ilariona Kievskogo: v 2 ch.* [Ideological and philosophical heritage of Hilarion of Kiev: in 2 parts]. Moscow, AN SSSR Publ., 1986, part 1, tekst pamiatnika podgot. T. A. Sumnikova. 1972 p.
- 3 *Pamiatniki starinnoi russkoi literatury: v 4 vyp* [Monuments of old Russian literature: 4 issues]. St. Petersburg, Tip. P. A. Kulisha Publ., 1862, issue 3, izd. podgot. A. N. Pypin. 304 p.
- 4 *Polnoe sobranie russkikh letopisei* [Complete collection of Russian chronicles]. Moscow, Iazyki russkoi kul’tury Publ., 1997, vol. 1, tekst letopisi podgot. E. F. Karskii. 496 p.
- 5 Simoni P. K. *Povest’ o Gore-Zlochastii...* [Tale of Woe and Misfortune]. *Sbornik Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti (ORIAS)* [Collection of articles of Russian language department]. St. Petersburg, 1907, vol. 83, no. 1, pp. 1–88.
- 6 *Slovo o polku Igoreve* [The Tale of Igor’d Campaign], izd. podgot. D. S. Likhachev, L. A. Dmitriev, O. V. Tvorogov. Leningrad, Sov. pisatel’ Publ., 1967. XXXVIII, 498 p. (B-ka poeta. Bol’shaia ser.)

- 7 *«Slovo o polku Igoreve» i pamiatniki Kulikovskogo tsikla* [«The Tale of Igor's Campaign» and monuments of Kulikovo cycle], teksty «Zadonshchiny» podgot. R. P. Dmitrieva. Moscow; Leningrad, Nauka Publ., 1966. 619 p.
- 8 Tikhonravov N. S. *Pamiatniki otrechennoi russkoi literatury: v 2 t.* [Monuments of renounced Russian literature: in 2 volumes]. Moscow, Tip. tovarishchestva «Obshchestvennaia pol'za» Publ., 1863, vol. 2. 314 p.
- 9 *Uspenskii sbornik XII–XIII vv.* [Assumption collection: XII–XIII centuries], izd. podgot. O. A. Kniazevskaia, V. G. Dem'ianov, M. V. Liapon. Moscow, Nauka Publ., 1971. 752 p.